

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

Глава шестая

“КОММУНИСТЫ, НАЗАД...”

Евгений Евтушенко во многих своих интервью, статьях, воспоминаниях с благодарностью отзывался о поэтах фронтового поколения: Борисе Слуцком, Давиде Самойлове, Александре Межирове. О последнем он вспоминал как о поэте особенно повлиявшем на него, научившем жить и выживать в литературной обстановке пятидесятых годов. В 1952 году они издают каждый по книге, куда вошли стихи, во многом сделавшие их широко известными в идеологически требовательной среде: книга Межирова называлась “Коммунисты, вперёд!”, так же, как знаменитое стихотворение, написанное молодым двадцатилетним поэтом аж в 1947 году.

А стихотворный сборник Евтушенко “Разведчики грядущего”, вышедший одновременно с межировскими “Коммунистами”, был значителен тем, что в нём было не одно, не два, а с десятков корявых, но подобострастных виршей о Сталине. В межировской же книжке стихи о Сталине были выполнены с мастерской велеречивостью:

*Эта речь в ноябре не умолкнет червонном
И во веки веков.
Это Сталин приветствует башенным звоном
Дорогих земляков.*

Не лишне вспомнить, что Сталин в 1952-м ещё был реальным властителем идеологии, и чиновники, следившие за состоянием советской поэзии, не могли не заметить ни межировского гимна, называвшегося “Горийцы слушают Москву”, ни евтушенковского льстиво-халтурного цикла, после которого начинающий поэт был сразу же принят в Литературный институт и в Союз писателей СССР. А было ему тогда всего-навсего девятнадцать годков. Для сравнения вспомним, что и Слуцкий и Самойлов издали свои первые сборники стихотворений, когда первому было около сорока, а второму за сорок, скорее всего потому, что у них не было в послужном списке в отличие от Межирова и Евтушенко ни стихов о Сталине, ни о торжестве коммунизма.

Вскоре Евтушенко, равняясь на межировскую оду “Коммунисты, вперёд!”, написал свою стихотворную клятву “Считайте меня коммунистом”.

Продолжение. Начало в №11,12 за 2019 г., в №1,2 за 2020 г.

Однако оба они, конечно, не могли не знать о послевоенной борьбе с космополитами, о таинственных слухах насчёт якобы готовившегося “дела врачей”, и потому учитель с учеником, видимо, понимали, что “поэт в России больше, чем поэт”, и что одного признания в любви к коммунизму — мало, что советский поэт ещё должен обозначать себя, как поэт — русский... Хочу быть русским! — так, наверное, можно назвать чувство, овладевшее Межировым после стихотворных клятв о верности коммунизму... А где искать русскость? Ну, конечно же, в языке, в слове:

*Был русским плоть от плоти
по мыслям, по словам,
когда стихи прочтёте —
понятней станет вам.*

Но “мыслей и слов”, чтобы почувствовать себя русским — мало. Может быть, нужен ещё и образ жизни? И этот образ появляется в стихах Александра Петровича в стихотворении “Москва. Мороз. Россия”, где он с предельной откровенностью изложил своё понимание “русскости”, увязав её не только с морозной русской зимой и с “закутанностью в снега”, но и с погружением во время святок в крещенские “купели” Серебряного бора, с любовью к традиционному цирку и к игре на бегах, столь привлекательных для нэповской и послевоенной столичной богемы.

*По льду стопою голой
к воде легко скользил
и в полынье весёлой
купался девять зим.*

Он так старался жить русским образом жизни, что даже посчитал, сколько “зим” погружался в ледяную воду, и не забывал о страдающей плоти во время крещенских купаний:

*Кровоточили цыпки
На стонущих ногах...
Ну, а писал о цирке,
О спорте, о бегах.*

*Я жил в их мире милом,
В традициях веков,
И был моим кумиром
Жонглёр Ольховиков.*

Стихия цирковой жизни изображается поэтом, как нечто волшебное, как почти космическое действо:

*Юпитеры немели,
Манеж клубился тьмой,
Из цирка по метели
Мы ехали домой.*

*Я жил в морозной пыли,
Закутанный в снега.
Меня писать учили
Тулуз-Лотрек, Дега.*

Да, постижение “русскости” у какого-нибудь Николая Тряпкина, ездившего в те годы по старообрядческим деревням Архангельской и Вологодской земли, судьбы и песни раскулаченных колхозных крестьян, их посёлки, построенные на лесоповалах, — всё это было совсем другой русскостью, нежели межировская “русскость” в иорданиях Серебряного бора, где выросли дачные посёлки для партийной знати. И ещё, если ты жил в русской “морозной пыли”, да ещё “закутанный в снега”, то естественно было бы вспомнить не па-

рижских балерин и француженок, которые позировали Дега и Тулуз-Лотреку, а “Мороз и солнце — день чудесный” Александра Пушкина, “Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи — мороз-воевода дозором обходит владенья свои” Николая Некрасова, вспомнить “Свет небес высоких, серебристый снег и саней далёких одинокий бег” Афанасия Фета. Да и без любимого Александром Петровичем Блока не обойдёмся, погружаясь в русскую зиму:

*Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала.
Но верю — то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала.*

А как не вспомнить есенинское: “Клён ты мой опавший, клён заледенелый, что стоишь, качаясь под метелью белой”! Или свиридовскую вечно печальную “Метель”... А тут — “Тулуз-Лотрек, Дега”. Не хватает только добавить к ним Марка Шагала, Казимира Малевича, Оскара Рабина — и с перевоплощением (“был русским плоть от плоти”) всё было бы в порядке.

Евтушенко сумел изложить свою “русскость” буквально в одной строке, когда сказал, как отрезал: “И ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский”.

Эта загадочная фраза так ошарашила Межирова, что, как пишет биограф Евтушенко Илья Фаликов, он не выдержал: “С-спрячь это и никому не показывай! — с трудом произнёс заикающийся Александр Петрович”. Следующее превращение из одной ипостаси в другую (из “коммунистической” и “русской” в “антисоветскую” и “американскую”) у обоих поэтов произошло во время перестройки, когда оба задумались об отъезде из разрушенной бывшими “русскими” и бывшими “коммунистами” России. Правда, Евтушенко всю оставшуюся после отъезда четверть века своей жизни повторял, что он уехал в Америку на работу, но какое это имеет значение, если туда же “на работу” уехал и ракетчик Роальд Сагдеев, и генерал КГБ Олег Калугин, и бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Одним словом, как сказал о себе и о них: **“Я в эмиграцию играю и доиграю до конца”**.

Всех этих “игроков в эмиграцию” на родине уже не удерживало ничего: ни “моральный кодекс строителей коммунизма”, ни показная “русскость”, ни православная вера, поскольку все они, как и большинство советских людей, были, как бы это помягче сказать — “обезбожены”. Полная обезбоженность Евтушенко скорее всего происходила от постоянного общения с его воспитателями-атеистами — Слуцким, Межировым, Самойловым. А нравы в Литературном институте, где учился Евгений Александрович и где позднее преподавал Межиров, были таковы, что когда наша шестидесятница Татьяна Глушкова представила для защиты диплома книгу стихотворений, называвшуюся “София Киевская”, то её научный руководитель, известнейший советский поэт Илья Сельвинский не принял рукопись диплома “по причине христианских мотивов, наличествующих в ней”.

Давид Самойлов за год до смерти, перепуганный провокационными криками наших СМИ о надвигающихся еврейских погромах (Алла Гербер, будучи в Израиле, однажды заявила, что благодаря только её речам и выступлениям из СССР уехало в Израиль около миллиона евреев), записал в дневнике: **“Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: “Шма исроэл! Адонай элхейну, Адонай эхад!” Единственное, что я запомнил из своего еврейства” — начало еврейской молитвы: “Слушай, Израиль! Господь наш Бог, Господь Един!”** Не “Отче наш” вспоминает перепуганный поэт, а “слушай, Израиль!” И при этом жаждет остаться именно русским поэтом.

Другой воспитатель Евгения Евтушенко Борис Слуцкий об Иисусе Христе, как мне помнится, в своих стихотворных книгах не вспомнил ни разу. Но о ветхозаветном боге евреев Иегове высказался в стихотворении о Сталине, который, по пониманию поэта, был настолько всемогущ и велик, что еврейского Иегову — “он низринул, извёл, пережёл на уголь, а после из бездны вынул и дал ему стол и угол”.

Правда, в одном из предсмертных своих стихотворений Слуцкий признался, что при жизни он “так и не встретился с Богом”. А что касается Межирова, то безбожная и бессмысленная “бормотуха бытия”, настигшая Александра

Петровича в годы перестройки, впервые овладела им гораздо раньше, когда поэт в 1971 году посетил Троице-Сергиеву Лавру.

Уже тогда Лавра с её насельниками показалась ему обителью нищевродов и рассадником уголовно-разбойных нравов, впоследствии заклеянных поэтом, как “охотнорядских” и “черносотенных”. Помню, что когда я впервые прочитал стихотворение “Спит на паперти калека”, то подумал: а не состоял ли подросток Саша в “Союзе воинствующих безбожников”, деятельностью которых руководил Емельян Ярославский?

*Нищий, рваный и голодный,
Спит на паперти холодной,
Подложив костьль под бок.
Там в окладах жемчуг крупен.
У монаха лик преступен,
Искажён гримасой рот.*

Но мало того, весь сергиево-посадский пейзаж, украшенный храмами, колокольнями, часовнями, крепостными стенами и монастырскими озёрами, показался поэту очагом мерзости и запустения, достойным того, чтобы над ним справляла свой пир воронья стая, прилетевшая сюда ради поживы:

*В дымке Троица святая,
А над ней воронья стая
Раскружилась и орёт.*

Дабы никто не сомневался в обречённости и бессмысленности этой православной “бормотухи”, поэт, чтобы обосновать историческую и религиозную нищету Третьего Рима, рисует одно убогое зрелище за другим:

*Спит на паперти калека,
А в гостинице уют.
С восемнадцатого века
Не проветривали тут.*

В великих русских лаврах-монастырях – Троице-Сергиевой, Киево-Печерской, Почаевской, Псково-Печерской, хранящих традиции и душу тысячелетней России, всякое проветривание – начиная от Никона и кончая “Союзом воинствующих безбожников” – до добра не доводило. Ну как тут не вспомнить великого русского историка Ключевского, сказавшего, что, пока идут службы в храмах Троице-Сергиевой Лавры, пока покоятся в серебряной раке мощи Сергия Радонежского, дотоле будет жива Россия.

Жива не как поле битвы, покрытое мёртвыми телами, и не как гора исторического хлама и мусора, предназначенная для того, чтобы её расклёвывали вороны...

*И над Троицким собором,
Оглашая воздух ором,
Вьётся стая воронья.*

Увидав калеку, спящего на паперти, и монаха с разбойничьим, “преступным ликом”, поэт ужаснулся и закричал: “С восемнадцатого века не проветривали тут”... А на самом деле Лавра, окружённая крепостными стенами и угловыми башнями, возведёнными за несколько веков монастырской братией, выдержавшая в Смутное время осаду польского регулярного войска, во времена Минея Губельмана (Емельяна Ярославского) “проветрилась” так, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Двадцатого января 1918 года советская власть издала декрет об отделении церкви от государства, и Лавра была превращена в трудовую артель. В марте 1919 года была распущена и преобразована в электротехнические курсы Духовная академия при Лавре. Десятого ноября 1919 года Лавра вообще была закрыта. Одиннадцатого апреля 1919 года были вскрыты мощи преподобного Сергия. Приблизительно в то же время была вскрыта и гробница семейства Годуновых.

Двадцатого апреля 1920 года вся братия Лавры была выселена и нашла себе место в трудовых коммунах. Последняя служба в Лавре совершилась 31 мая 1920 года. . .

Никаким татаро-монгольским, шведским, польским, литовским и прочим “проветривателям” не снилось то, что делали с русской церковью “комиссары в пыльных шлемах”. Разве что маркиз де Кюстин мечтал о более тотальном “проветривании” Лавры, когда писал в 1839 году в книге “Николаевская Россия”: **“Рака с мощами Сергия ослепляет невероятной пышностью. Она из позолоченного серебра великолепной выделки. Её осеняет серебряный балдахин. . . Французам досталась бы здесь хорошая добыча”**. Как это ни прискорбно, но мечты наполеоновских мародёров “о проветривании” совпали с мечтами “комиссаров в пыльных шлемах”. Но я же помню, как “проветривали” мою родную калужскую Оптину пустынь и Шамординскую обитель, которые до конца восьмидесятых годов прошлого века были переоборудованы в мастерские для ремонта сельскохозяйственной колхозной техники, и даже в сортиры для механизаторов, как в мои школьные годы в Калуге из сорока церквей оставались открытыми лишь две — моя Георгиевская и Николо-Козинская. После войны по пути в школу проходя мимо церковных остовов, мимо Троицкого собора с безглазыми окнами и берёзками, росшими на крыше, я набрался чувств и впечатлений, которые потом стали стихами, написанными в состоянии душевного отчаяния:

*Реставрировать церкви не надо —
пусть стоят как свидетели дней,
как вместилища тары и смрада
в наготе и в разрухе своей.*

*Пусть ветшают... Недаром с веками
в средиземноморской стороне
белый мрамор — античные камни —
что ни век возрастает в цене...*

*Штукатурка. Покраска. Побелка.
Подмалёвка ободранных стен.
Совершилась житейская сделка
между взглядами разных систем.*

*Для чего? Чтоб заезжим туристам
не смущал любознательный взор
в стольном граде иль во поле чистом
обезглавленный тёмный собор?*

*Всё равно на просторах раздольных
ни единый из них не поймёт,
что за песню в пустых колокольнях
русский ветер угрюмо поёт!..*

Именно такой протяжный ветер в 20–30-е годы “проветривал” по всей России монастыри и храмы. Историческая память о Сергиевом Посаде и Лавре, основанной аж в 1337 году, стиралась беспощадно. В 1930 году Сергиев Посад стал называться Загорском в честь комиссара Вольфа Михелевича Лубоцкого, носившего псевдоним Загорский, погибшего от рук анархистов в 1918 году. В 1976-м “Загорско-Лубоцкому” был поставлен памятник в центре города. Но в годы перестройки городу было возвращено исконное имя, и памятник временщику куда-то исчез. Одним словом, как говорит русская поговорка — нет худа без добра.

А моё стихотворение о разрушенных храмах и “обезглавленных соборах” я однажды прочитал Александру Межирову. Он выслушал и ничего не ответил мне. Промолчал, переведя разговор на другую тему. Но моё стихотворение, видимо, запомнил, потому что через двадцать с лишним лет в перестроечное время ответил мне своими стихами:

*Вы, хамы, обезглавившие храмы
Своей же собственной страны,
Вступили в общество охраны
Великорусской старины.*

Жаль, что эти строки я прочитал, когда их автор уже был в Америке. А то бы, встретив его на Красноармейской улице, где мы жили в соседних домах, я сказал бы ему:

— Александр Петрович! Вы хотите грех разрушения церквей в 20–30-е годы переложить на русское простонародье? Но вспомните, что когда Ленин приказал в 1921 году изъять у церкви все её драгоценности, то русское простонародье восстало в городах Шуя и Иваново-Вознесенске. Войска и чекистов пришлось в эти города посылать, и человеческие жертвы были. А “обезглавливало” храмы в 30-е годы уже другое поколение простонародья, прошедшее через горнило Союза воинствующих безбожников. Знаете, кто руководил этим Союзом? — Емельян Ярославский. Знаете, с каких лет он начинал выращивать этих хунвейбинов? — С четырнадцати. Знаете, кто написал первую восторженную биографию Сталина? — Да, всё тот же Губельман-Ярославский... Знаете, когда волна этого “хамского” хунвейбинства начала утихать? — Когда в 1935 году Демьяна Бедного исключили из ВКП(б) за глумливое изображение Крещения Руси, которое допустил этот негодяй в пьесе о богатырях Руси и Владимире Красное солнышко... Я вижу, что Вы не согласны со мной. Ну, тогда вспомним, кто в поэме Есенина “Страна негодяев” (написана в 1922 году!) развивает Ваши мысли о “хамах, обезглавивших храмы”? Вот монолог этого “хама”:

*Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Станный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.*

Увы, Александр Петрович, не проходит Ваша версия о том, что храмы “обезглавливало” русское простонародье. Более того, герой этого гневного монолога негодует, что представители “смешного и странного народа” “строили храмы Божии”, которые он, “гражданин из Веймара”, жаждет превратить в “места отхожие”. Вы, конечно, как известный поэт и профессор Литературного института, знаете, что прототипом этого “гражданина из Веймара”, названного в поэме “Чекистов-Лейбман”, был Лейба Бронштейн, он же Лев Троцкий, ставший в конце концов таким же эмигрантом, каким стали Вы.

* * *

Но что случилось с нами, людьми одного поколения, в 60–90-е годы? Почему так разошлись за эти тридцать лет наши стёжки-дорожки? Я ведь помню, как мы улыбались друг другу, как читали в застольях стихи, как хвалили друг друга за талант, за гражданскую смелость, как выступали одной командой на вечерах в Лужниках, в зале Чайковского, в Политехническом. Правда, меня всегда коробила строка Вознесенского: “Политехнический — моя Россия”, потому что я чувствовал, что “моя Россия” — это и родная Калуга, и Ленинград, где лежит на Пискарёвском кладбище мой отец, и древнее лесное село со звериным именем Пыцуг, затерявшееся в костромских лесах, в котором прошло во время войны моё эвакуированное из Ленинграда детство, и мой город Тайшет, куда я приехал работать после окончания Московского университета...

А ещё северный посёлок Ербогачён на Нижней Тунгуске – Угрюм-реке, а ещё беломорская деревня Мегра, а ещё украинский город Конотоп, где мы жили с матерью после войны...

И всё же, всё же, всё же... Мы дарили друг другу книги с искренними и лестными дарственными надписями. Беру с книжной полки одну книгу за другой. Читаю. *“Дорогому Стасику мой треугольно-добрый кулак. – Андрей Вознесенский ХХ век”*.

А вот автограф Булата Окуджавы на книге о декабристе Пестеле, изданной в серии *“Пламенные революционеры”* под названием *“Глоток свободы”*: *“Дорогие Стасик и Галя, спасибо вам за прошлое, за настоящее, а будущее не в нашей власти. 23. 2. 72 г.”* Булат как в воду глядел: октябрь 1993 года разделил нас навсегда...

Беру с книжной полки одну книгу за другой, задумываюсь, читаю: *“Дорогому Станиславу Куняеву – истинному поэту, дружески. Ю. Трифонов. 8. V. 76”*. Книга называется *“Дом на набережной”*, и повествовала она о жизни партийно-чиновничьей элиты в знаменитом *“Доме”* на берегу Москвы. Прочитав её, я узнал, что Юрий Трифонов был сыном *“врага народа”*, донского казака, героя гражданской войны, председателя военной коллегии Верховного суда СССР Валентина Трифонова и революционерки Евгении Лурье...

“Стасу Куняеву от сердца в память о наших метаниях по земле итальянской. Будь! Роберт. 30. X. 80”.

Это от Рождественского, который в разгар споров *“почвенников”* и *“западников”* провозгласил в одном из стихотворений: *“по национальности я советский”* и уклонился от всех *“русско-еврейских”* споров.

А вот автограф Василия Аксёнова на его книге из той же серии *“Пламенные революционеры”* о соратнике Ленина Леониде Красине: *“По старой дружбе Стасику Куняеву для воспитания сына в духе этой суровой книги. 26. 1. 72. В. Аксёнов”*.

Мне было понятно, почему Аксёнов, сын русского политкомиссара гражданской войны и еврейской девушки Евгении Гинзбург, ушедшей в революцию, как и мать Юрия Трифонова, из местечковой белорусской провинции, написал *“суровую”* повесть именно о Леониде Красине – фанатике мировой революции... И каково мне было через десять лет после отъезда Аксёнова на Запад слушать по *“Голосу Америки”*, а потом и по *“Свободе”* его надменное *“Здравствуйте, господа!”*, после чего он нёс такое по адресу и Ленина, и мировой революции, и Страны Советов, что кости Красина переворачивались в гробу.

Но среди такого рода дружеских, но заурядных дарственных фраз истинную радость мне доставляли неожиданные для меня автографы от многострадального узника ГУЛАГа Варлама Шаламова: *“Станиславу Юрьевичу Куняеву шлю очередной свой опус – автор с великим уважением и симпатией. В. Шаламов. Ночь 27 сентября 1977 года”*.

Или от прозаика Юрия Казакова: *“Станиславу Куняеву, одному из моих самых любимых (давно!) поэтов и людей. Ю. Казаков, сент. 1973 г.”* Надпись сделана на книге *“Северный дневник”*, одной из самых заветных книг моей библиотеки.

И, конечно же, самыми не казёнными и не шаблонными были дарственные надписи, оставленные на память мне Александром Межировым на своих книгах.

“Любимому Станиславу А. Межиров. 9. IV. 68 г.” – надпись на книге *“Подкова”*, М., 1967 г. *“Дорогим Гале и Станиславу на память о ветровом стекле. Дружески и сердечно. А. Межиров, 10. 9. 71 г.”* – надпись на книге *“Поздние стихи”*, после какой-то поездки на автомашине, за рулём которой сидел Александр Петрович. *“Гале и Станиславу на память о жизни... “в огромном доме, в городском июле” с любовью А. Межиров”* – надпись на сборнике *“Под старым небом”*, М., 1976 г.

* * *

20 сентября 2017 г. В моей квартире зазвонил городской телефон. Звонил поэт, с которым чуть ли не полвека тому назад меня познакомил в Тбилиси Александр Межиров, и который вскоре стал его зятем, женившись на дочери Межирова, ныне живущей в Америке.

— Станислав Юрьевич, — закричал голос на том конце провода, — я несколько лет прожил в межировской семье, навещал их в Америке. Но, клянусь его мамой, я не подозревал, что, женившись на Зое, породнился со знаменитой революционеркой Землячкой — Розалией Залкинд! Вы представляете, как я ошарашен!

Мой собеседник был ошарашен тем, что, прожив в семье тестя часть жизни, он и знать не знал о родословной своей жены. . .

Вечером мой внук нашёл в интернете воспоминания двоюродной племянницы Межирова Ольги Мильмарк, опубликованные в “Иерусалимском журнале” № 56 за 2017 год, свидетельствующие о родословном древе одного из влиятельнейших шестидесятников.

Из воспоминаний О. Мильмарк:

“Моя мама, двоюродная сестра Межирова (их матери, урождённые Залкинд, — родные сёстры), рассказывала, как перед самым уходом на фронт в 41-м семнадцатилетний Шурик, одетый в шинельку не по росту, пришёл на Ордынку попрощаться с ней и со своей тётей, моей бабушкой Олей:

*Без слёз проводила меня...
Не плакала, не голосила,
Лишь крепче губу закусила
Видавшая виды родня.
Написано так на роду.
Они, как седые легенды,
Стоят в сорок первом году,
Родители-интеллигенты”.*

На этом племянница Межирова обрывает стихотворную цитату, видимо не желая, чтобы читатели “Иерусалимского журнала” узнали, какие “виды” видала “родня” и “родители интеллигенты”.

Но не зря же говорится, “написано пером — не вырубешь топором” — её талантливый дядя не сдержался и проговорился в этом же стихотворении о таких семейных тайнах, о которых племянница умолчала:

*Их предки в эпохе былой,
из дальнего края нагрянув,
со связкою бомб под поллой
встречали кареты тиранов.*

Это, видимо, написано об эпохе, когда был убит царь-освободитель, об эпохе Веры Засулич и Геси Гельфман (или Гельфанд?), когда возникали тайны общества вроде “Земли и воли”, когда героями террора объявлялись Каляев, Нечаев и Каракозов, чьи имена в советское время были присвоены улицам многих русских городов, в том числе и моей Калуги. . . Но со “связками бомб под поллой”, скорее всего, имели дело деды и прадеды межировского рода. Об отце же, участвовавшем в первой русской революции 1905 года, Александр Петрович пишет с осторожностью, и многое надо читать между строк:

*В году далеком Пятом
Под флагом вихревым
Он встретился с усатым
Солдатом верховым.*

*Взглянул и зубы стиснул,
Сглотнул кровавый ком, —
Над ним казак присвистнул
Тяжелым батожком.*

*Сошли большие сроки,
Как полая вода.
Остался шрам жестокий
И поет иногда.*

Но местечковые революционеры были ничего не забывающими и мстительными, да и для всех “детей Арбата” нагайка со времён 1905 года была символом жестокой, антисемитской, черносотенной, “шолоховской” России:

*Нагаечка, нагайка,
Казаческая честь,
В России власть хозяйка,
Пока нагайка есть,—*

писал Евгений Евтушенко в поэме “Казанский университет”, словно бы продолжая стихи Межирова. Конечно, отец Межирова уже не стоял, как его предки, “со связкой бомб под полой”, и во времена межировского детства в 20–30-е годы он был мирным “сотрудником наркомата”, о котором сын писал: “Трудами измождённый, спокоен, горд и чист, угрюмый, убеждённый великий гуманист”... И всё-таки ноет “шрам жестокий” от удара батожком верхового казака, этакого Гришки Мелихова, “убеждённого” монархиста, чьим призванием было разгонять демонстрации “жидов” и “студентов”. Этого Межиров-младший не пишет. Но это Межиров-старший, взявший неблаговзвучный псевдоним и отвергнувший подлинную родовую фамилию, чувствует, как постоянно возникающую фантомную боль. Все эти взаимные столкновения, весь объективный ход истории разделили к середине 30-х годов прошлого века русскую интеллигенцию на два лагеря — либералов и патриотов. Пламя гражданской войны к 1936 году приутихло. А до принятия сталинской конституции оно бушевало не на шутку, о чём свидетельствует стихотворение популярного в те времена поэта:

О СМЕРТИ

*Меня застрелит белый офицер
не так — так этак.
Он, целясь,— не изменится в лице:
он очень меток.*

*И на суде произнесет он речь,
предельно краток,
что больше нечего ему беречь,
что нет здесь прятков.*

*Что женщину я у него отбил,
что самой лучшей...
Что сбились здесь в обнимку три судьбы, —
обычный случай.*

*Но он не скажет, заслонив глаза,
что — всех красивей —
она звалась пятнадцать лет назад
его Россией!..*

1932

Автор стихотворения — Николай Асеев, о котором в “Википедии” сказано, что он происходит из рода Пинских, и что Асеев — это, скорее всего, тоже псевдоним. Впрочем, это и не так важно. Важно, что он помнил, как отбил красавицу Россию у белого офицера. Но навсегда ли?

Как бы то ни было, но к середине 30-х всё “устаканилось”. Почти все писатели-патриоты вышли из сословия крестьянства или городского простонародья, а “либералы” из среды профессиональных революционеров, партийных журналистов, нэпманов, государственных чиновников 20 — 30-х годов, чекистов, огэпэушников, энкавэдэшников. Одним словом, когда наше поколение к середине 60-х возмужало, своеобразная гражданская не то чтобы война, но распря постепенно разгоралась между детьми “аристократии” и “простонародья”. Естественно, что думающие и талантливые поэты обоих лагерей не могли пройти мимо осмысления своей родословной, что, впрочем, было естественным для русской поэзии XIX–XX веков, если вспомнить “Мою родословную” Пушкина, “Современников” Некрасова, “Анну Снегину” Есенина и т. д.

А если обратиться к “шестидесятникам-десантникам”, как называл своих друзей Евтушенко, то самое “таинственное” и “революционное” родословное древо было у Александра Петровича Межирова. Из воспоминаний

О. Мильмарк. “Видавшая виды родня... Семья Залкиндов жила в Чернигове в доме деда, земского врача. Абсолютно ассимилированная семья, в которой говорили и читали по-русски. Часть детей получили образование в Цюрихе. Равнодушие к быту (а тут ещё и война!) сформировалось у Межирова с детства. Изысканная еда, комфорт – совершенно не культивировались в наших семьях. “Нищенству этого духа / вовеки не изменю”, – приводит О. Мильмарк строку из книги А. М.

Не совсем понятно, как “нищенство духа” и “равнодушие к быту” совмещалось с возможностью учёбы в Цюрихе. Впрочем, учёба в Европе была в ту эпоху модной у местечковых интеллигентов – палач донского казачества Иона Якир учился в Базельском университете, один из создателей ГУЛАГа Яков Раппопорт – в Дерптском университете, Овсей-Герш Аронович Радомысльский (Зиновьев), – в Бернском университете, Нафталий Френкель – заместитель начальника ГУЛАГа Ягоды – получил образование в Германии. Розалия Самойловна Землячка-Залкинд обучалась сначала в Киевском, а потом в Парижском университетах... Словом, почти все крупнейшие “комиссары в пыльных шлемах” и создатели “Архипелага” были людьми весьма образованными.

Из воспоминаний О. Мильмарк.

Моя мама была для двоюродного брата тем самым Читателем, который, по несколько парадоксальному высказыванию Межирова, отличается от Поэта “разве что формально”... Он подарил ей рукописную “Бормотуху” с ликбезовскими замечаниями на полях, например: “Розанов, Леонтьев – поздние славнофилы-националисты, люди гениальные, но морально безумные”. А вот подписанная маме “Бормотуха” из перестроечного “Огонька”: “...на память о тревожной осени и бормотухе бытия земного”. В память врывается звонок Межирова моей маме в те же 90-е годы: “Дусинька! Ты должна бросить всё – больных, Марка, Олечку – и бежать смотреть “Холодное лето 53-го”. Это нельзя пропустить”.

У меня сохранилась черниговская фотография начала 30-х, на которой в нижнем ряду справа маленький Шура Межиров, рядом – младшая сестра Лида, за ней – старшая, моя мама, будущий врач, затем – Гриня, ставший режиссёром (Григорий Залкинд), который был знаменит в 70-е годы в театральной Москве как постановщик “подпольных” спектаклей театра абсурда”.

А дальше в своих воспоминаниях Ольга Мильмарк выдала тайну, которую тщательно скрывала и семья Залкиндов и сам поэт:

“Увы, из нашей же семьи вышла будущая “пламенная революционерка” Розалия Землячка* (урождённая Рахель Залкинд). О ней в семье не говорили, наверное, и потому, что помимо многих уничтоженных

* В 1937–1947 годах Розалия Землячка была членом ЦК ВКП(б) и работала в сталинском правительстве заместителем председателя Совета Народных комиссаров, видимо за уничтожение в гражданской войне “врагов революции”. В 1920 году она совместно с венгерским революционером Бела Куном организовала по указанию главвоенмора Л. Троцкого массовое уничтожение многих тысяч русских офицеров армии Врангеля и казаков, которые не успели эвакуироваться из Крыма в Турцию и сдались в плен, поверив обещанию М. Фрунзе даровать им жизнь. Этот сюжет всемирно-исторического злодеяния использован в повести Валентина Катаева “Уже написан Вертер”, а образ самой Розалии Залкинд выведен в стихотворении Ярослава Смелякова “Жидовка”.

Прокламация и забастовка,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны...

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая ни мать, ни жена.
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.

После смерти Смелякова это одно из самых лучших его стихотворений не вошло по воле составителей в его однотомник “Большой библиотеки поэта”, а в 1987 г. демократы-шестидесятники из “Нового мира” впервые опубликовали это стихотворение, заменив слово “жидовка” на “курсистку”. В последние годы жизни она жила в Переделкино, называла сама себя “демоном революции”, никто с ней не общался, и потому, когда она умерла, её труп с пятнами разложения был обнаружен лишь через несколько дней после её смерти.

“врагов революции” на её совести собственный шестнадцатилетний племянник Бенья, талантливый скрипач, обвинённый в те “оканные дни” в контрреволюционной деятельности и приговорённый к расстрелу. Его мать, тётя Ася, двоюродная сестра Землячки, с которой они вместе росли в Чернигове и учились в Цюрихе, отправилась из Чернигова в Москву к сестре, занимавшей высокий пост в правительстве Ленина, в надежде, что та спасёт безвинного юношу, но получила отказ”.

Из воспоминаний О. Мильмарк.

“Из Чернигова часть семьи перебирается в Москву, часть — в Ленинград. В Москве Межировы поселяются в Лебяжьем переулке, в большой коммунальной квартире на первом этаже: “Переулок мой Лебяжий, / лебедь юности моей”.

Евгений Евтушенко в стихотворении, посвящённом Межирову, пророчил: “В переулок Лебяжий вернётся когда-нибудь в бронзе...” (“далее у Евтушенко следует строка, опущенная племянницей Межирова: “автор стихотворения “Коммунисты, вперёд!”). Так что в перестроечное время семье Межировых приходилось скрывать не только родство с “фурией революции”, но и то, что Шура, “поклонник Блока”, является автором эпохального стихотворения). Из воспоминаний О. Мильмарк.

“Почти каждый выходной мы с мамой приходили на Лебяжий, где собиралась вся большая семья и где я, подросток, влюблённый в поэзию, воспринимала молодого Межирова не иначе как молодого Блока. Всем в этом доме заправляла суровая няня Дуня, обожавшая Шуру. Это её увековечил он в классическом “Серпухове”:

*Прилетела, сердце раня,
Телеграмма из села.
Прощай, Дуня, моя няня, —
Ты жила и не жила.
Паровозов хриплый хохот,
Стылых рельс двойная нить.
Заворачиваюсь в холод,
Уезжаю хоронить.*

Это были стихи о России, о крестьянке Дуне, которая вынырнула в двадцатые годы маленького еврейчонка Сашу... Сверхзадачей стихов, вдохновенно написанных, была цель — доказать, что и скромная интеллигентная семья, и выброшенная из деревни ураганом коллективизации молодая крестьянка Дуня жили одной жизнью, ели один хлеб, терпели одни и те же тяготы.

*Всё, что знала и умела,
Няня делала бегом.
И в семье негромкой нашей
В годы ранние мои,
Пробавлялась той же кашей,
Что и каждый член семьи.*

Автор жэзээловской книги о Евгении Евтушенко Илья Фаликов, вспоминая эту поэму, пишет:

“Кабы существовала антология великих стихотворений XX века, там среди таких шедевров, как блоковская “Незнакомка”, пастернаковский “Август”, “Враги сожгли родную хату” Исаковского, мартыновский “Прохожий”, стояли бы и “Серпухов”, самые русские стихи Межирова”.

Улавливавший в стихах даже небольшую фальшь Анатолий Передреев, прочитав поэму о няне, обратил внимание на заключительные слова: “Родина моя Россия, няня, Дуня, Евдокия” и холодно заметил: — Россия-няня? Ну, слава Богу, что не домработница... — Он, уроженец саратовской деревни, не знал, что русских нянь-домработниц в нэповских семьях того времени было не счесть. В семье Самойлова была домработница, у которой Дезик, по собственному признанию, учился русскому языку. В семье харьковского коммерсанта Абрама Слуцкого была русская няня, растившая будущего поэта-шестидесятника. В семье писательницы Орловой-Либерзон, жены публициста Л. Копелева, также вела хозяйство русская няня-домработница Арина.

Да и моя 15-летняя мать, чтобы выжить (после смерти отца у бабушки осталось четверо детей), пошла в Калуге в услужение к ювелиру Кусержицкому. Работала в его многодетной семье три года, как говорится, “только за хлеб”.

А Копелев и Орлова, как были, несмотря на репрессии 30-х годов, представителями советской аристократии, так и остались ими. Когда они, лишённые советского гражданства, прибыли в Берлин, их встретил Генрих Белль и повёз в свой дом, поскольку за год до этого Лев Копелев написал Беллю письмо, свидетельствующее о крепкой дисциплине, связывавшей в те времена в одну “мировую антерпризу” (термин композитора Георгия Васильевича Свиридова) всех антисоветчиков и русофобов той эпохи:

“Очень, очень прошу тебя и всех руководителей ПЕНА, желающих помочь нам делом, ускорить приём в национальные отделения ПЕНА в первую очередь тех писателей, которым угрожает опасность (Максимов, Галич, Лукаш, Кочур, Некрасов, Коржавин). Объективности ради следует включить и нейтральных авторов, Вознесенского, Симонова, Шагинян, Георгия Маркова; не забудьте и тех, кто в настоящее время подвергается, по-видимому, меньшей угрозе (Алекс. Солженицын, Лидия Чуковская, Окуджава, я также); но теперь, после Конвенции, наше положение может опять осложниться. Однако прежде всего: не ослабляйте всевозможных общественных и (доверительно-) лоббистских усилий в защиту осуждённых – Григоренко, Амальрика, Буковского, Дзюбы, Свитличного и других. Пожалуйста, объясни всем у вас: сегодня возникла реальная возможность – как никогда прежде!!! – эффективно воздействовать из-за рубежа на здешние власти путём дружественного, но постоянного давления. Надо, чтобы в этом участвовало как можно больше “авторитетных” людей: политиков, промышленников, художников, журналистов, литераторов, учёных... и пусть их усилия не ограничиваются одноразовыми манифестами – следует вновь и вновь настойчиво говорить об этом, писать, просить, требовать, выступать с коллегиальными поручительствами”.

В сущности – это целая программа действий для 5-й колонны, образовавшейся из “детей Арбата” и “ХХ съезда”.

И ещё одно обстоятельство выгодно отличает первую эмиграцию от третьей. Владислав Ходасевич, со своей “Европейской ночью”, стоит в одном ряду с Буниным, написавшим в эмиграции “Жизнь Арсеньева”, с Мариной Цветаевой, чья книга “Вёрсты” не уйдёт в забвение, так же как “Солнце мёртвых” и “Лето Господне” Ивана Шмелёва, так же как “Жизнь Клима Самгина” Максима Горького... Первая эмиграция в отличие от третьей сделала блестящий вклад в русскую литературу. И недаром, получив в подарок от Бориса Слуцкого машинописный сборник “Европейской ночи” и прочитав его, я назвал свою первую московскую книгу коротким и ёмким словом – “Звено”, которое взял у Ходасевича:

*Во мне конец, во мне начало,
мною совершенное так мало!
Но всё ж я прочное звено:
Мне это счастье дано...*

*В России новой, но великой
поставят идол мой двуликий
на перекрёстке двух дорог,
где время, ветер и песок.*

Париж 1928 г.

А прочитав “подарочное” издание “Европейской ночи”, сразу же запомнил и стихи о няне Елене Кузиной, и страшное стихотворение “Перед зеркалом”... И ещё вспоминаю о том, как летом 1960 года мы втроём – Анатолий Передреев, Владимир Дробышев и я – отправились на Николину гору, на дачу к поэту Николаю Асееву поблагодарить старика за предисловие к стихам Передреева, опубликованным в “Литературной газете”. На асеевской даче его жена – одна из трёх сестёр Синяковых, широко известных в литературной среде, напоила нас чаем, пару бутылок коньяка мы захватили с собой, язы-

ки у нас развязались, и я спросил Асеева — был ли он знаком с Ходасевичем и близок ли ему этот поэт. Асеев восторженно и почти закричал: — Да Вы что, молодой человек! Он же был человеконенавистником! Когда над его парижской мансардой пролетал самолёт, он, почти неподвижный, прикованный к постели, вздымал к небу руку и кричал: — Упади! Упади!

Да, человек таких страстей, вспоминая о няне-кормилице, мог бросить в лицо мачехе-родине: — Я высосал мучительное право тебя любить и проклинать тебя!.. Александр Межиров, конечно же, знал эти слова, когда писал в своей эмиграции, в доме для престарелых: “Можно родину возненавидеть — невозможно её разлюбить”. Но, увы, всё-таки разлюбил, и этому предшествовал целый ряд событий... .

Ненастной зимней ночью 1988 года в Москве случилось несчастье, о котором один из второстепенных шестидесятников-демократов поэт Пётр Вегин в книге своих мемуаров “Опрокинутый Олимп” напишет подробно и правдиво:

“Юрий Гребенщиков, артист театра на Таганке, возвращался домой, отпраздновав вместе с коллегами и друзьями день рождения Высоцкого, который всегда отмечали в театре. Несколько раньше из того же театра уехал на своей машине один из известнейших и действительно замечательных поэтов, бывший в театре по тому же поводу. Оба они жили в одном районе. В Москве в ту ночь был сильнейший снегопад. Гребенщиков изрядно “принял” в театре и, как утверждали, после театра ещё где-то. Между Ленинградским проспектом и Красноармейской улицей, где находится сказочное строение знаменитого архитектора Казакова (его занимает Военная академия имени Жуковского), Юрия Гребенщикова сбила легковая машина. После удара она проехала несколько метров и остановилась. Из машины вышел человек в дорожной пушистой меховой шапке, вернулся к сбитому им Гребенщикову и, взяв его за ноги, оттащил в кусты. И уехал. Всё это видела в окно женщина, живущая в доме, расположенном напротив, которая в этот поздний час встала пописать. Она и позвонила в “Скорую помощь”, которая приехала, увы, с большим опозданием, сославшись на снегопад. По причине того же густого снегопада женщина не смогла рассмотреть номер машины. Всё это запроотоколировано в отделении милиции. Если бы Юрия Гребенщикова не отволокли за ноги в кусты, а сразу же, подхватив на руки и погрузив в машину, отвезли в больницу (Боткинская совсем рядом), он остался бы в живых. Если бы “Скорая помощь” не плутала под густым снегопадом и приехала через пять (как и надлежит ей) минут, а не через сорок пять, он остался бы в живых. Выживали и в худших ситуациях, особенно когда “под банкой”. Если бы... .

Врачи боролись за жизнь Гребенщикова три месяца. Второго сентября 88 года (точность — по почтовому штемпелю) я получил письмо без обратного адреса. Как выяснилось позже, подобные письма получили ещё несколько поэтов. Вот оно, слово в слово:

“Пётр, восемь месяцев назад прямо под колёса машины, которой я управлял, шагнул человек, находившийся в состоянии тяжёлого опьянения. Через три месяца он умер. Я даже не видел его на проезжей части. Через долю мгновения после наезда у меня начался шок, беспомыслие, длившееся 5 суток. Мог ли я оказать помощь пострадавшему? И вот через 7 месяцев после этого я был подвергнут психиатрической экспертизе, которая, естественно, ничего не показала и показать через такой срок не могла. Восемь месяцев меня истязают грязными слухами. Я виноват перед людьми во многом, но только не в этой страшной беде. А. Межиров. VIII. 88”.

Прошедший всю войну, принявший первый обстрел на Пулковских высотах, то есть побывавший во всех фронтовых передрягах, закалка от которых остаётся на всю жизнь, виртуозный шофёр — и не заметил человека, который “шагнул прямо под колёса”?! Простите, а как же он тогда заметил, что человек сей находился “в состоянии тяжёлого опьянения”?! Любой, кто попадает в такой “шок, беспомыслие”, не способен контролировать время и знать, сколько дней длилось это состояние. А здесь точно — 5 дней! Милиция искала не только водителя, но и машину, описанную случайной очевидицей, по марке и по цвету. Когда следователи каким-то образом вышли на след Межирова, которого все эти дни “опекал” Евтушенко, его машины не было в гараже. Нигде не было. Не была ли она спрятана или разобрана на части? Я задаю вопрос — я не утверждаю.

Бесспорно, от алкоголя, принятого на вечере в честь Высоцкого пусть даже в самом минимальном количестве, за пять дней не останется и следа. А там и пятидневный “шок” прекратился. . .

Писать стихи, даже воистину прекрасные, вероятно легче, чем помочь сбитому машиной человеку. Речь даже не о вине слегка подогретого спиртным и романтически-восхищённого снегопадом водителя. Речь о том, что погиб актёр и двое его детей остались сиротами не из-за “наезда”, а из-за трусости. “В Москве не будет больше снега, не будет снега никогда. . .”

Спасибо Петру Вегину, работавшему тогда в московской писательской организации и написавшему правду об этом позорном несчастье.

А способствовавший сокрытию этого преступления Евгений Евтушенко, лучший ученик Александра Межирова, впоследствии изложит своё понимание происшедшего в таких косноязычных стихах:

*Так случилось когда-то, что он уродился евреем
в нашей издавна нежной к евреям стране,
не один черносотенец будущий был им неосторожно лелеем,
как в пелёнках, в страницах, где были погромы*

в набросках, вчерне.

*И когда с ним случилось несчастье, которое может случиться
с каждым, кто за рулём (упаси нас Господь!),
то московская чернь —*

*многомордая алчущая волчица —
истерзала клыками пробитую пулями Гитлера плоть.*

Да, такое может случиться с каждым. Но Е. Е. умолчал в своих стихах о том, что отвратительное и слабодушное поведение фронтовика, сбжавшего в Америку, было вскоре забыто, замолчано, без слов и всяческих судов прощено, скорее всего потому, что задавил не до смерти и оттащил в кусты несчастного актёра не кто-нибудь, а известный кумир либеральной Москвы, “свой человек” и для Любимова, и для всей театральной компашки, человек, о котором Евтушенко так закончил свой гимн на высокой ноте:

*А вы знаете, — он никогда не умрёт,
автор стихотворения “Коммунисты вперёд!”
Умирает политика. Не умирает поэзия, проза.
Вот что, а не политику, мы называем “Россия”, “народ”,
В переулочек Лебяжий вернётся когда-нибудь в бронзе из Бронкса
автор стихотворения “Коммунисты вперёд!”*

Конечно, такие стихи — умирают скоро (скорее всего на другой день после их сочинения). . . Бронкс — это местечко в американском Портленде, где жил и умер Александр Межиров, о котором Евгений Александрович, надо отдать ему должное, помнил всегда. Достаточно сказать, что в 2006 году в России усилиями Евтушенко была издана с его предисловием книга Межирова “Артиллерия бьёт по своим”. И Ольга Мильмарк вспоминает, как Евтушенко кричал со сцены: “Сегодня счастливейший день в моей жизни: у меня в руках новая книга моего учителя — поэта Межирова”. Приезжая в Москву, Е. Е., если его приезды совпадали с какими-то юбилеями Межирова, обязательно выступал на этих вечерах. В последний раз это было в 2013 году, в год 90-летия поэта. В Большом зале Центрального Дома литераторов, вмещающем 500 человек, собралось около 30 слушателей. На сцене же сидело человек десять писателей, среди которых был поэт Владимир Мощенко, человек близкий Межирову. Вечер вёл Евтушенко. В зале сидел библиардист и поэт Егор Митасов, бывший тоже приятелем Межирова, рядом с ним сидел мой сын Сергей. Владимир Мощенко во время своего выступления стал сетовать как, мол, мог Станислав Куняев, живший в одном доме с Межировым, ездивший с ним в Грузию, как мог написать такие несправедливые воспоминания о Межирове. Мой сын порывался было встать и что-то возразить оратору из зала, однако Егор Митасов взмолился и одёрнул Сергея — “мол, молчи, не подымай скандала!” Но когда вслед за Мощенко на трибуну вышел Евтушенко и чуть ли не закричал: — Я же помню, как Станислав Куняев пресмыкался

перед Межировым! — Сергей не выдержал, освободился из объятий Митасова, встал и крикнул на весь зал: **“Прекрати врать!”** — Митасова как ветром сдуло, Сергей тоже вышел вслед за ним, сопровождаемый грозными взглядами всматривавшегося из-под ладони в пустой тёмный зал Евгения Александровича, который не знал, что уже в середине 80-х годов после дискуссии “Классика и мы” и переписки Виктора Астафьева с Натаном Эйдельманом я написал А. Межирову в своём последнем письме: *“Вы за последние годы ничего не поняли и ничему не научились. Мне жаль моих книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, а скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги”*. После этого письма наши отношения прекратились.

* * *

Одновременно с Александром Межировым жил и писал стихи русский поэт Николай Тряпкин, происходивший из раскулаченной семьи, жившей в подмосковной деревне Лотошино. “Деревенщик”, “почвенник”, православный человек, исполнявший свои стихи, как молитвы, нараспев, поскольку с детства в результате душевной травмы он стал заикаться.

В начале 90-х годов Николай Тряпкин, для которого и “Новый Завет” и “Пятикнижие” были откровением свыше, написал, подражая древним иудейским пророкам, проклинавшим народ Израиля за его грехи, своё проклятье.

Проклятье

*И воспылал гнев Господа на народ Его,
И возгнулся Он наследием Своим...*

Псалтирь

*“Израиль мой! Тебе уже не святы
Моих писем горящие столбцы.
Да будешь ты испелён стократы!
Да станут пылью все твои дворцы!” —*

*Так возгремел Господь из жаркой тучи —
И гневный дых пронёсся над страной:
“Израиль мой! С твоих железных крючьев
Мой лучший сын свалился чуть живой.*

*Да будут прахом все твои алмазы!
Да будет так во все твои века:
Броней твоей — короста от проказы,
Вином твоим — струя из-под быка!*

*И скольких ты ограбил и замучил!
И скольких ты оставил сиротой!
Израиль мой! Пади с Сионской кручи!
Я сам тебя столкну своей пятой”.*

Александр Межиров, в то время уже собравшийся переехать вместе со всеми чадами и домочадцами в Новый Свет, прочитав тряпкинское “Проклятье”, вступил с крестьянским сыном в мировоззренческий спор, ответив ему небольшой поэмой “Позёмка” с посвящением “Николаю Тряпкину”. По сути, это было стихотворение прощания и с Россией, и с поэтом, которого Межиров ценил, но пророческие “антиперестроечные” стихи которого принять не мог.

*Извини, что беспокою,
Не подумай, что корю.
Просто, Коля, я с тобою
напоследок говорю.*

.....

*Вот и вышло, что некстати
мне попался тот журнал,
где прочёл твоё проклятье
и поэта не узнал.*

“Тот журнал”, в котором было напечатано “Проклятье”, назывался “Наш современник”. А почему не узнал? Да потому, что человеку, написавшему “Коммунисты, вперед!”, примерявшему на себя самые разные обличья — солдата, лежащего в Синявинских болотах, циркового мотогонщика по вертикальной стене, книжного славянофила, прочитавшего Аксакова и Константина Леонтьева, такому многоликому творцу было невозможно понять цельную натуру русского крестьянского человека. И в чём же этот разноликий игрок мог обвинить поэта Николая Тряпкина? А вот в чём. Межиров вспомнил довоенную историю о том, что Андрей Платонов перед войной попал в застольную компанию поэтов, и когда один из них вдруг сказал:

*Для затравки, для почина:
“Всё ж приятно, что меж нас
нет в застолье хоть сейчас
чужака и крещенина, —
тех, кто говорит крестом,
а глядишь — глядит пестом.”*

Якобы в ответ на это заявление “антисемита и охотнорядца” Андрей Платонов —

*К двери медленно пошёл.
А потом остановился.
И, помедлив у дверей,
медленно сказал коллегам:
“До свиданья. Я еврей”.
Воротить его хотели,
но истаял он в метели,
и не вышло ничего.
Сквозь погоду-непогоду
медленно ушёл к народу,
что не полон без него.*

Может, так оно и было. Но ответ Межинова Тряпкину из двух поэм — “По-зёмка” и “Бормотуха” жалок своей бытовой пошлостью, своим банальным осуждением мифических “охотнорядцев” и “лабазников” (“в Охотном оказались рядом”, “И не “преображенец”, а “лабазник” салоны политике обучал” и т. д.) Вся эта лексика словно бы взята Межиновым напрокат у своего ученика Е. Евтушенко, который, как будто бы поддакивая Межинову и соревнуясь с учителем в газетной болтовне той эпохи, так напишет о стихах Тряпкина в антологии “Строфы века”:

“Одно время казалось, что он не больше, чем талантливый балалаечник <...> Однако в 1922 году А. Межиров написал горькое стихотворное послание Н. Тряпкину, усмотрев в одном из его последних стихотворений (“Проклятье”. — Ст. К.) не проявлявшийся у него ранее опасный душок национализма, переходящего в свои неприятные формы”.

Сама казённая стилистика Евтушенко в этом приговоре Тряпкину близка к стилю партийных идеологических проработок из передовиц “Правды”: “Усмотрев”, “опасный душок национализма” — да это словно цитата из печально знаменитого документа “Против антиисторизма”, сочинённого ныне справедливо забытым Александром Яковлевым. И это сказано о поэте, писавшем вот на каком духоподъёмном уровне...

Мать

*Когда Он был, распятый и оплёванный,
Уже воздет,
И над крестом горел исполосованный
Закатный свет, —*

*Народ притих и шёл к своим привалищам —
За клином клин,
А Он кричал с высокого распялица —
Почти один.
Никто не знал, что у того Подножия,
В грязи, в пыли,
Склонилась Мать, Родительница Божия, —
Свеча земли.*

*Кому повем тот полустон таинственный,
Кому повем?
“Прощаю всем, о Сыне Мой единственный,
Прощаю всем”.*

*А Он кричал, взывая к небу звездному —
К судьбе Своей,
И только Мать глотала кровь железную
С Его гвоздей...*

*Промчались дни, прошли тысячелетия,
В грязи, в пыли...
О Русь моя! Нетленное соцветие!
Свеча земли!*

*И тот же крест — поруганный, оплётанный.
И столько лет!
А над крестом горит исполосованный
Закатный свет.*

*Всё тот же крест... А ветерок порхающий —
Сюда, ко мне:
“Прости же всем, о Сыне Мой страдающий:
Они во тьме!”*

*Гляжу на крест... Да сгинь ты, тьма проклятая!
Умри, змея!..
О Русь моя! Не ты ли там — распятая?
О Русь моя!..*

*Она молчит, возревши к небу звездному
В страде своей.
И только сын глотает кровь железную
С её гвоздей.*

Ни Межирову, ни Евтушенко никогда не были доступны духовные высоты, на какие вознеслась в этом поистине библейском стихотворении душа поэта с простонародной фамилией “Тряпкин”, которого, снизойдя к нему, Е. Е. называл “талантливым балалаечником”. **“И только Мать глотала кровь железную с Его гвоздей”** — прочитав такое, отчего мороз проходит по коже, я вспомнил глумливые испражнения Андрея Вознесенского: **“Христос, ты доволен судьбою? — Христос: “Вполне! Только с гвоздями перебой!”**

Вспомнил и перекрестился: прости меня, Господи, за то, что цитирую богохульное словоблудие советско-американского плейбоя.

Как это ни горестно, но о такого рода стихах-молитвах, как “Мать” и “Проклятье”, начитанный лицедей Александр Петрович язвительно отозвался в поэме “Бормотуха”, обвинив Николая Тряпкина в желании **“Лишь только б разминуться с христианством и два тысячелетья зачеркнуть”**. Но “с христианством разминуться” и “зачеркнули два тысячелетья” не Тряпкин, в молодости обездвигивший многие деревни русского “старообрядческого Севера”, а предводительница “детей Арбата” и шестидесятников Валерия Новодворская, которая не хуже Межирова и Тряпкина знала, что произошло в Иерусалиме две

тысячи лет тому назад, и которая, обнажая суть кровавой бойни, происшедшей 4 октября 1993 г. в Москве, заявила: **“Я не питаю ни малейшего уважения или приязни к русской православной церкви <...> такие, как я, вынудили президента на это решиться и сказали, как народ иудейский Пилату: кровь Его на нас и детях наших <...> Один парламент под названием Синедрион уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному человеку погибнуть, чем погибнет весь народ”**.

Вот страшное и бесчеловечное оправдание кровопролитной трагедии, которую Межиров пытался свести к пошлой болтовне об “антисемитизме”, “охотничестве”...

Мне помнится, как однажды в начале 90-х годов мы с ним шли по Александровскому саду и остановились возле стелы, где были выбиты имена революционеров утопического социализма всех времён и народов, и он неожиданно серьёзно сказал мне: “Станислав! Неужели Вы не верите в то, что рано или поздно, но дело этих людей победит?..”

Если бы я тогда был насыщен знаниями, которыми владею сегодня, то ответил бы ему так: — *После этой победы нам, Александр Петрович, надо будет рядом с именами Кампанеллы, Сен-Симона, Фурье, Бакунина вырезать на камне имена Вашей тётушки Розалии Залкинд и Валерии Новодворской.*

Каждая из них способствовала такому революционному кровопролитию эпохи, которое не забывается. Духовный спор, в котором, как две силы на поле брани, сошлись сын русского крестьянства, православный воин с красивой простонародной, но древней и своей собственной фамилией и атеист, выходец из семьи европейских эмигрантов, хлынувших в Россию на переломе веков, носивший красивый псевдоним, — окончился на рубеже тысячелетий. Русский воин Николай Тряпкин, отпетый по православному обряду, похоронен на подмосковном Ракитском кладбище. Его противник, сбежавший с поля духовной брани, умер в далёкой Америке, и пепел его, перевезённый в урне из Бронкса, зарыт в переделкинской почве. Будут ли поколения, следующие за ними, продолжать их спор? Не знаю. Евтушенко, правда, пророчествовал, что *“В переулок Лебяжий вернётся когда-нибудь в бронзе из Бронкса автор стихотворения “Коммунисты, вперёд!”*. Но я не верю в такой исход, потому что видел, как этот автор, услышав команду “Коммунисты, вперёд!”, один раз уже сбежал с поля брани. Я помню, как в шестидесятых годах прошлого века в ресторане Центрального Дома литераторов постоянно пьянствовала шумная парочка: маленький — полтора метра с кепкой детский писатель Юрий Коринец, человек с бугристым смуглым лицом, ёжиком волос и стоящими торчком усиками, и громадный, похожий на бабелевского биндюжника, старый лагерник Юрий Домбровский... Терять им было нечего. Замечательный писатель Домбровский отсидел семнадцать лет, Коринец вырос в казахской ссылке, — и махнувшие рукой на всякие условности советской и литературной жизни друзья постоянно напивались и вели себя, как душе было угодно.

В узком проходе, соединяющем Пёстрый зал с Дубовым, величественно шествуют двое — впереди маленький Коринец с тарелкой, на которой закуска, а за ним, покачиваясь, мохнатый, словно снежный человек, с волосами чуть ли не до плеч, в расстёгнутой до брючного ремня рубашке, с двумя фужерами водки в обеих руках — Юрий Домбровский.

Навстречу им со стороны Дубового зала появляется трезвый Межиров. Завидев его, — благополучного, вылощенного поэта, официально названного надеждой советской поэзии в тех же самых статьях и докладах 1947 года, которые выбрасывали из литературной жизни Ахматову, и конечно же, презирая его, умного дельца и одного из влиятельнейших боссов переводческого клана, автора знаменитого стихотворения “Коммунисты, вперёд!” — два бесстрашных литературных бомжа, не сговариваясь, рывкнули в два пропитых го-лоса: — Коммунисты! — Назад!

Александра Петровича как ветром сдуло. Он шарахнулся, а точнее шмыгнул куда-то за дощатую перегородку, отделявшую коридорчик от кухни, и застался в ожидании, пока отчаянная пара, забыв о нём, не усядется где-нибудь в Дубовом зале, к ужасу метрдотеля Антонины Ивановны...

Вот так на моих глазах разрушилась коммунистическая броня, чуть ли не полвека оберегавшая поэта и помогавшая ему и его чадам с домочадцами жить безбедно, пользоваться всеми благами советской жизни со всеми её

гонорарами, дачами, тиражами, банкетам, миллиардами, цирками и прочими причиндалами бытия.

Ну как тут было ему не задуматься о судьбах Лели и Зои, о будущем любимой внучки Ани, и конечно же пожалеть о том, что он поторопился, написав мне в письме: “Я прожил жизнь и умру в России, на миру да в надежде и смерть красна”. Написал вроде бы искренне, а может быть и ради красного словца, поди догадайся. А с некрасивой историей, случившейся в ресторане ЦДЛа, тоже неувязочка вышла: Юрий Домбровский, если верить слухам, был то ли из цыган, то ли из поляков, а Юрий Коринец оказался вообще чистым евреем, и объявить их “черносотенцами и охотнорядцами” было и смешно и невозможно.

* * *

Соучастниками самых тяжких преступлений нашей Гражданской войны в эпоху рассказывания рядом с Розалией Землячкой были венгерский коммунист Бела Кун и красный военачальник Иона Якир. По закону истории, гласящему, что “революция пожирает своих детей”, Якир был расстрелян в 1937 году, когда Сталин произнёс слова, ставшие чуть ли не пословицей — “сын за отца не отвечает”. А у Ионы Якира был сын Пётр. Вроде бы не отвечал он за своего отца, но сильнее, нежели сталинская пословица, оказалась истина ветхозаветной жизни, гласящая: “Кровь его на нас и на детях наших”. И ровесник Межирова Пётр Ионыч Якир побывал и в лагере, и в ссылке. Потом отвоевал часть жизни на фронте, закончил после войны истфак МГУ, но связался после XX съезда КПСС с диссидентами, был завербован Лубянской, выдал этому ведомству многих соратников-диссидентов, стал заливать свою совесть и грехи своего отца водкой, спился к пятидесяти годам и умер от алкоголизма.

... Когда на новейшую историю человечества наплывает первобытная стихия, в которой властвует богиня возмездия Немезида, то новейшая история погружается в такую “бормотуху” бытия, в такую “позёмку”, что даже в самых трезвых умах возникает мысль: “лучше было бы не родиться”.

Александр Межиров ощутил всю ненадёжность жизни в России, когда в конце восьмидесятых до него по сарафанному радио стали доходить провокационные слухи о готовящихся еврейских погромах. А тут некстати о его родной тётушке Ярослав Смеляков написал стихотворение “Жидовка”.

А тут ещё о таких же фуриях революции, как Землячка, Валентин Катаев сочинил повесть “Уже написан Вертер” — со сценами массовых расстрелов врагов революции именно в Крыму... Вот-вот и тайна его кровного родства с “демоном революции” будет раскрыта. Что делать? А если родня и потомки казаков из русской Вандеи и белых офицеров, уничтоженных по приказу его тётушки предъявят исторический счёт ему и его роду-племени? А если вспомнят “черносотенцы” его стихи:

*Я до баб не слишком падох,
Обхожусь без них вполне, —
Но сегодня Соня Радек,
Таша Смилга снятся мне.*

*Слава комиссарам красным,
Чей тернистый путь был прям...
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным дочерям.*

Кто же были эти “красные комиссары” Ивар Смилга и Карл Радек? В первую очередь идеологами и членами Интернационала, в котором его закалённые кадры — латыши и евреи, работавшие на “русском направлении”, играли чрезвычайно важную роль в расширении фронта мировой революции. Оба они вступили в РСДРП, а потом в партию большевиков в начале века. Оба прошли через горнило кровавой гражданской войны. Оба после победы революции вошли в состав Центрального комитета ВКП(б) и заняли высшие посты — один в Госплане СССР, а другой в Исполкоме Коминтерна. Оба

в 1927 году как активные троцкисты были сняты со своих постов и исключены из ВКП(б). Оба в 1929 году написали в ЦК ВКП(б) письмо, в котором заявили об идейном и организационном разрыве с троцкизмом. Оба в 1930 году были восстановлены в партии. Оба они — и Смилга и Радек в 1937 году были арестованы за участие в троцкистском заговоре. Смилга был вскоре расстрелян, а Радек, как пишет историк К. Залесский в книге “Империя Сталина” (“Вече”, 2000 г.), “На следствии дал согласие выступить с любыми разоблачениями и показаниями против кого угодно”. Он “стал центральной фигурой процесса <...> назвав при этом заговорщиками огромное количество партийных деятелей, в том числе и тех, кто ещё не был арестован. Большинство участников процесса были расстреляны. Радек, возможно “в благодарность за послушание”, был приговорён 30. I. 1937 года к 10-ти годам тюрьмы... В лагере был убит уголовниками”. Вот какой бесславной смертью закончилась жизнь пламенного революционера и международного авантюриста, разжигавшего революционный пламень в Австрии, Германии, Польше и, конечно же, в России. Не зря Александр Межиров восхитился его судьбой, его “тернистым путём”. Ошибся наш поэт лишь в одном — никакой “прямоты” в пути, пройденном Карлом Радеком, не было, путь его был извилистым и кровавым, похожим на путь Розалии Землячки, похороненной, однако, в отличие от Радека в Кремлёвской стене. Феликса Дзержинского и Янкеля Свердлова снесла людская волна в 90-х годах с околосмоленских площадей, не дай Бог и урну с тётушкиным прахом из Кремлёвской стены выдернут. Что тогда делать? И зачем он воспевал Радека, который писал о Сталине в 1934 году: “К статной, спокойной, как утёс, фигуре нашего вождя шли волны любви и доверия. Шли волны уверенности, что там, на мавзолее Ленина собрался штаб будущей, победоносной мировой революции”.

Вот каков был “красный комиссар”, чьи “прекрасные дочки”, с “бессмертными матерями” были женщинами образца крымской Розалии Землячки, или Евгении Бош, свирепствовавшей во время гражданской войны в Пензенской области, или знаменитой своей жестокостью следовательницы киевского ЧК по фамилии Ремовер, или Ревекки Пластининой-Майзель, жены архангельского чекиста Кедрова и одновременно сотрудницы местного ЧК... Да много их было, этих фурий революции, не перечислить всех.

И с чего бы столь осторожный и даже робкий по натуре поэт прочёл гимн в их честь? Может быть, роковая тайна их семьи о том, что он является кровным племянником Розалии Землячки, выплеснулась в его стихах неожиданно для него самого? Такое бывает у талантливых поэтов.

В 1960–1980 годах никто об этой семейной тайне ничего не знал, разве что самые близкие родные люди из семьи Залкиндов. Можно было жить спокойно. Но история страны в конце восьмидесятых стала меняться на глазах. Возникает страшное общество “Память”, по Москве ходят слухи о возможных еврейских погромах. Как гром среди ясного неба прогремело “дело Осташвили”. Какой-то сумасшедший антисемит в отместку за этого негодяя, убитого в тюрьме, ворвался в синагогу с ножом и ранил нескольких евреев... Если его отец всю жизнь со времён 1905 года помнил о шраме от удара казацкой нагайки, то нет ничего удивительного в том, что память о тысячах убиенных в Крыму вернётся к их сыновьям и внукам. Что тогда станет с ним, с его дочкой Зоей, с его внучкой Аней? Неужели русский мир погружается в первобытный хаос и начинает жить по обычаю “око за око”?

Что делать? Уезжать в эмиграцию, подобно тысячам казаков и офицеров, успевших эмигрировать в Турцию в роковом 20-м году.

Чадолубивый и хранящий в памяти историю всей своей родни Александр Петрович считал своим долгом увековечить и весь свой род в целом и многих родных по отдельности.

У него есть стихотворение “Разговор с отцом”, где сын признаётся отцу, что был неправ, споря с ним. У него есть трогательное стихотворение, посвящённое памяти матери:

*Это маленькое тело,
просветлённое насквозь,
отстрадало, отболело
в пепел переоблеклось.*

В поэме “Серпухов” Александр Петрович целую главу посвящает скульптору Эрнсту Неизвестному, который

“не даёт уснуть Москве, не даёт засохнуть глине”.

И с гордостью сообщает: по какой-то там из линий с Неизвестным мы в родстве.

Сказано загадочно, но всеведущая “Википедия” выяснила, что они двоюродные братья, то есть близкие родственники.

В стихотворении “Чернигов” Александр Петрович рассказывает о родственнике, устелившем соломой часть улицы возле своего дома, чтобы проезжающие мимо пролётки не грохотали колёсами о мостовую, тем самым мешая спать владельцу дома. Возможно, это был его дед по отцу, черниговский банкир эпохи нэпа, о чём вспоминает в своей книге “Не только о Евтушенко” въедливый биограф шестидесятников питерский журналист Владимир Соловьёв, живущий в Америке с 80-х годов, автор книг почти обо всех писателях из “малого народа”, переселившихся в Штаты:

“Одно время он играл русского патриота, и Кожин, Куняев, Глушкова признавали его единственным из кирзятников – не еврей... В Переделкине Евтушенко при мне пенял ему чуть ли не антисемитизмом <...>

Зато в Америке Межиров – еврей и рассказывает забавные истории про отца-банкира, но здешние знатоки-чистокровцы разоблачают его этимологически:

Какой он еврей, если фамилия от межи? <...> Наивные “знатоки-чистокровцы”! Так и не удалось им, по словам Соловьёва, выяснить, что фамилия Межирова лишь по отцу (отец взял себе псевдоним). А по матери – Залкинд”.

Но надо отдать должное Александру Петровичу: в последних его стихах и поэмах (“Бормотуха”, “Позёмка”, “Триптих”) живёт наряду со спекуляциями на антисемитские, охотничьи темы такое трепетное чувство, особенно за судьбу внучки Анны, что читаешь “Анна, друг мой, маленькое чудо” – и сердце сжимается:

*Я не хочу, чтобы она вернулась,
чтоб в этот смрад крошечный окунулась,
чтоб в эту милосердную страну
попала на гражданскую войну.*

Обо всех близких подумал Александр Петрович, обо всех родных написал, перед всеми коленами объяснился, лишь одну, может быть, самую роковую персону из своего рода не назвал, ни в стихах, ни в письмах, ни в разговорах, потому что знал – это “табу”. Потому что чувствовал, что в 1993 году “смрад крошечный” тянется в столицу со времён “гражданской войны” с Крымского полуострова.

И в этих обстоятельствах “от страха иудейска”, который охватил его в жуткую зимнюю ночь, когда он оттащил тело бедолаги артиста на обочину, он вместо того чтобы покаяться и за себя, и за свою демоническую тётушку, переводит стрелки истории на бутафорских злодеев – “охотничьих” и “черносотенцев”...

... Но и это всё – схоластика.

*Потому что по Москве
Уж разгуливает свастика
На казенном рукаве.
На двери, во тьме крошечной,
О шести углах звезда
Нарисована поспешно —
Не сотрется никогда...
Тёмная заходит злоба
За неоохотный ряд,*

*И кощунственно молчат
Президенты наши оба...*

Вот эта от первой до последней буквы фальшивая картина истории 90-х возмутила меня в его “Позёмке”. Я помню, кто и как “разгуливал” по Москве в те роковые дни. Помню, как, приходя на работу в журнал, мы находили на оконных стёклах первого этажа намалёванные масляной краской “свастики”, помню на входной двери слова “Белов – свинья!”. Помню разбитую вдребезги вывеску, гласящую, что здесь находится редакция журнала “Наш современник”. Помню, в конце концов, мерзостное антирусское “письмо 42-х” с требованием закрытия “фашистских” журналов и газет... Помню и то, что никакого “кощунственного” молчания со стороны “обоих президентов” не было. Со стороны “коммунистического расстриги” Ельцина был преступный приказ о расстреле народа, а со стороны ничтожного Горбачёва трусливое и предательское согласие с этим расстрелом. Ещё раз повторюсь: межировская фальшивка в “Позёмке” окончательно утвердила меня в том, что то ли от привычки к изощрённому лицедейству, то ли от страха он впал на старости лет в полную “бормотуху” бытия. Последним волевым усилием были его слова, которые он написал после посещения в 1990 году государства Израиль. Цитирую по воспоминаниям Ольги Мильмарк: “Разочарованный новыми репатриантами, не усмотрев в них сионистского настроения, он писал: “В стране, где когда-то люди по болотам с автоматами наперевес ползли по пояс в воде, борясь за высокие идеалы, сейчас стоят в очереди, чтобы захватить стакан кофе из бесплатного автомата”.

Впрочем, это откровенное разочарование в поведении своих соплеменников, съехавшихся на обетованную землю для создания своего государства, охватило не только его. Сочинитель стихов Игорь Губерман, выехав за границу во времена перестройки (1988 г.), публично отозвался похожим образом: “Знаете, в Израиле вдруг понял, что при ближайшем рассмотрении евреи не такие, какими их представляют по российской жизни. Нас жизнь в СССР заставляла быть умными, хитрыми, со сметкой, тут же выяснилось, что среди евреев огромное количество дураков. Я из-за этого порой впадал в растерянность. В Израиле дикое число идиотов! ... Это медицинский факт!” (“Комсомольская правда”, № 117, 26.06.98).

Несколько ранее писатель и переводчик, публицист Александр Этерман, в предисловии к книге Шломо Занда “Как и почему я перестал быть евреем”, выразил своё мнение по отношению к избранным: “Добравшись до Израиля в 1985 году, я, полагая, что до сих пор был гражданином второго сорта, страстно захотел попробовать себя в новой, первосортной роли – роли сверхчеловека, причастного к властному большинству. Попросту к “высшей расе”. Попробовал. И через несколько лет едва не задохнулся от ужаса и стыда. Не только и не столько увидев собственными глазами, что делает сегрегация с населением второго и третьего “сортов” – это отвратительно, но тривиально, сколько уразумев, увы, с опозданием, сколь эффективно и необратимо разрушает она души, тела и социум представителей “высшей расы” (“Как и почему я перестал быть евреем / Ш. ЗАНД.; пер. с иврита А. Этермана. – М.: Эксмо, 2013, стр. 31).

Может быть, и это горестное открытие перемен, происходящих с его соплеменниками на земле обетованной, удручило его настолько, что его духовная энергия, помогавшая ему быть и сталинистом, и русским патриотом, и убеждённым эмигрантом, в Иерусалиме вконец покинула Александра Петровича, иссякла, превратилась в облачко, поднявшееся над раскалёнными плитами Стены Плача.

Стену Плача

*обнять не могу,
даже и прислониться*

К ней лицом

на одно, на единственное мгновенье,

Даже просто войти

в раскалённую тень

от её холодящей тени.

А последние сакральные слова, сквозь слёзы произнесённые им у подножья этой раскалённой стены, вышли неожиданно беспомощно правдивыми:

*В переулке крутом
к синагоге отверг приобщенье,
В белокаменном храме Христа
над рекой в воскресенье, —
отвергнул крещение, —
Доморощенна вера твоя
и кустарны каноны,
Необрезанный и некрещённый.*

На этих последних словах с воспоминанием о московской Синагоге и о Храме Христа Спасителя остановилось всё — поэзия, жизнь и духовная распря, которую проиграл поэт с красивым псевдонимом “Межиров” поэту с некрасивой, но естественной и собственной фамилией “Тряпкин”. Да, проиграл. А ведь игроком он был незаурядным.

Возможно, что, подражая своему наставнику, Евгений Евтушенко незадолго до смерти тоже посетил Израиль, чтобы попрощаться с народом, чтившим его за стихотворение “Бабий Яр”. Но поскольку Евтушенко утверждал, что “еврейской крови нет в крови моей”, он не пополз к Стене Плача, а сфотографировался на прощанье со своими поклонниками, одевшись в израильскую военную форму с автоматом в руках, грозно глядящим в сторону Газы, самого большого концлагеря в мире, перенаселённого несчастными палестинцами, изгнанными силой оружия и террором со своих земель.

* * *

Кроме тайны о кровном родстве с Розалией Землячкой Александр Петрович мог унести в могилу и ещё одну тайну, и лишь его религиозно-мировоззренческий спор с Николаем Тряпкиным не позволил ему вырвать эту страницу из жизни. Ища оправдание своей эмиграции, Межиров вспоминает в поэме “Позёмка” (после сцены, в которой Андрей Платонов со словами “до свидания — я еврей” уходит из антисемитского застолья) какой-то таинственный арест, которому он был подвергнут в сороковые годы.

*В угол каменной стены
Славной родины сыны,
Опыт выказав немалый
(Суперпрофессионалы),
Трижды бросили меня.
И крошечных трое суток,
Сразу потеряв рассудок,
Пролежал в застенке я.*

Александр Петрович задним числом посыпает голову пеплом, что он смелодушничал и, в отличие от Платонова, покинувшего компанию черносотенцев, не решился порвать с этой уголовно-антисемитской родиной, не ушёл, хлопнув дверью, как Андрей Платонов. И потому всю вторую половину жизни остался мучиться и страдать. За что? “А за то, что не ушёл”, “И за то, что этот случай в памяти не уберёт”. А какой это случай? — может быть, постыдный, которым ни хвастать, ни гордиться нельзя?

*Был я молод, как-то выжил,
Кое-как на волю вышел,
Но на воле воли нет...
И уж если был впервые
Недобит в Сороковые,
То теперь, на склоне лет,
И заточку, и кастет*

*Надо к этому прибавить,
Чтобы опыт углубить,
Надо все-таки добить,
Чтобы родину прославить.*

Что произошло с ним тогда в те сороковые? Неизвестно. Он промолчал. Но тому, кто прочитал “Позёмку”, становится ясным, почему умирать Александр Петрович уехал в Америку... Испугался этой родины на старости лет... Но зачем после первого урока, преподанного ему “суперпрофессионалами” в сороковые годы, он прославлял эту ненавистную родину, её людей, её победы, восхвалял её вождя Сталина, кричал “коммунисты, вперёд”, рыдал, провожая Иосифа Виссарионовича в последний путь? Зачем написал поэму “Солдаты Сталина”? Зачем? Кто тебя заставлял? Тут уж, как говорится, не родину обвинять надо, а самого себя, читать вслух стихи Заболоцкого: “нет на свете печальней измены, чем измена себе самому”, выступить где-нибудь на писательском съезде и заклеить преступления своей тётушки и подобных ей, неустанно повышавших своими деяниями градус ненависти, от которой Андрей Платонов выбежал на улицу...

* * *

Последние стихи Межирова — были написаны в середине 90-х годов и опубликованы в сборнике “Свет двуединый”, изданном с подзаголовком: “Евреи и Россия в современной поэзии”.

*Пускай другого рода я
И племени иного, —
Но вы напрасно у меня
Конфисковали слово.*

Горько читать эти откровения о “Другом роде-племени” после того, как ты поверил поэту, сказавшему ранее:

*Был русским плоть от плоти
По мыслям, по словам,
Когда стихи прочтёте —
Понятней станет вам.*

Ну вот мы прочитали стихи из “Триптиха” и поняли, что первую половину жизни поэт может быть одного рода-племени, а во вторую половину каким-то чудом переродиться в другой род и в другое племя. Но мало того.

*Где-то в сороковые впервые
Мне указано было на дверь,
Стыдно, что не покинул Россию.
И уже не покину теперь.*

Составители и редакторы книги “Свет двуединый” Михаил Грозовский и Евгений Витковский поверили Александру Петровичу, что он “уже не покинет Россию”, и я получил от него в те годы письмо, где было клятвенно сказано: “Я прожил жизнь и умру в России”. И что же в итоге? Ну невольно обманул меня — так это естественно в наше время! К тому же я — русский гой. Но обманывать своих соплеменников Грозовского и Витковского? Этого я от Александра Пейсаховича не ожидал. За это ведь его любой раввин и любой секретарь партийной организации осудили бы и призвали бы покаяться.

Но поэт не кается, а обвиняет эпоху.

*Получилось — виноваты
Иудеи — супостаты,
На которых нет креста
В том, что взорван храм Христа*

.....
*Раскрестьянили деревню,
Расказачили Кубань.
И в подвале на Урале
Государь со всей семьёй
Получилось, — мной расстрелян,
Получилось — только мной.*

(Из “Позёмки”, посвящённой Николаю Тряпкину)

Пошлым и затасканным приёмом доведения мыслей своего противника в споре до абсурда Александр Межиров пытается обесценить его аргументы и взгляды. В ответ же он может получить проще простого: — *Нет, не вы, Александр Петрович, расстреляли “Государя императора со всей семьёй”, а мещетковский революционер Янкель Юровский со своими поделщиками Шайей Голощёкиным и Лазарем Пинхусовичем Войковым.* Команду “расстрелять” дал из Москвы Яков Свердлов, в числе расстрельной команды были пленные мадьяры с фамилиями Эдельштейн, Гринфельд и Фишер... Утешу Александра Петровича тем, что рядом с “мадьярами” расстреливали Романовых и двое русских — некто Ермаков и ещё один негодяй, фамилию которого я забыл. “Раскрестьянили деревню”... Да, но в этом Межиров ни на йоту не виноват. Нарком сельского хозяйства в годы раскулачивания был некто Яковлев, он же Эпштейн... “Расказачили Кубань” — ну об этом исполинском плане, составленном Л. Троцким, Александру Петровичу подробно могла рассказать его родная тётушка Розалия Землячка.

А что касается взорванного “иудеями супостатами”, как пишет сам Межиров, “Храма Христа Спасителя”, то, конечно, его взорвали специалисты неизвестной национальности и его обломки убирались чернорабочими русскими и татарами, но проспект Дворца Советов на месте храма подробно был разработан знаменитым архитектором тех времён Борисом Иофаном, верю, что он был не “иудеем”, а скорее всего фанатичным безбожником и так же, как Александр Петрович, честным коммунистом.

А “Позёмка” метёт и метёт по русской земле, но следы содеянного не застревают, не исчезают, они терзают душу...

*Получилось, что некстати
Мне попался тот журнал,
Где прочёл твоё “Проклятьё”
И поэта не узнал.*

*Или, может быть, оплошка
Эта белая обложка,
Под которой только тьма
Чёрная и вопль “Проклятья”
Против иноверца-татя,
Строки твоего письма.*

Я помню это стихотворение “Проклятьё” Николая Тряпкина. Помню, как мы поменяли жёлтую обложку на белую, как я искал для журнала эмблему, которая соединила бы восьмидесятые годы двадцатого века с веками минувшими — с некрасовским “Современником”, с пушкинским, с более ранними временами, вплоть до смутных, когда Россия отбивалась от польско-литовско-шведской Антанты, направляемой Ватиканом, когда у меня в голове вдруг вспыхнули слова “Минин и Пожарский”. Помню, как мы собирали этот номер с белой обложкой, на которой стоял оттиск великого памятника, изваянного Мартосом, и в котором было стихотворение “Проклятьё” и остальное содержание, ошеломившее Межирова: “Эта белая обложка, под которой только тьма чёрная”...

Спустя тридцать лет я отыскал этот номер, чтобы убедиться, какой “чёрной тьмой” он преисполнен:

Перечисляю. В шестом номере “Нашего современника” за 1991 год, где напечатано стихотворение Н. Тряпкина “Проклятьё”, столь возмущившее по-

эта, был опубликован роман писателя первой русской эмиграции “Неугасимая лампада” о Соловецком лагере, которым руководили Глеб Бокий и где бесчинствовали Натан Френкель с Дерибасом. Там же были размышления Вадима Кожинова “Об эпохе Святой Ольги”, главы из книги философа Ивана Ильина “Поющее сердце” о нравственных основах христианско-православной этики. А на обложке анонсировались публикации Дм. Балашова “Похвалы Сергию” (о Сергие Радонежском), воспоминания священника Дмитрия Дудко, очерк Льва Гумилёва “Князь Святослав Игоревич”. И всё это было под белой обложкой с памятником Минину и Пожарскому. Обо всём этом поэт выразился так: “Эта белая обложка, под которой тьма и тьма”. А может быть, пытаясь выжать из себя благодатные слёзы среди раскалённых от беспощадного солнца камней Стены Плача, он всё-таки, увидев “полунищего алима”, вспомнил “калеку”, спящего “на паперти холодной” в Троице-Сергиевой Лавре, вспомнил промёрзшие окопы под Колпино, вспомнил нечто сказанное и не поддающееся забвению:

“Я жил в морозной пыли, закутанный в снега”, “Вот и покончено со снегом, с московским снегом голубым”...

“О смерти Межирова, — как пишет в своих воспоминаниях его племянница Ольга Мильмарк, — по русскоязычному израильскому радио сообщали раньше, чем в Москве и Нью-Йорке”.